

А. Б. ПЕНЬКОВСКИЙ

ЗАГАДКИ ПУШКИНСКОГО ТЕКСТА И СЛОВАРЯ
(«Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)

Определяйте значение слов, говорил Декарт —
и вы избавите свет от половины его заблуждений.

А. Пушкин

Поэзия ни прямо открывает, ни попросту скрывает,
но открывает, скрывая.

М. Хайдеггер

1. Вспомним характеристику Онегина в XXXVII строфе 1-й главы «романа в стихах»:

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова:
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань и саблю и свинец¹.

Высказываясь по поводу этой и следующей строфы, комментаторы ограничиваются общими указаниями на то, что образ Онегина связывается с романтическим комплексом идей и чувств, в состав которого входят пресыщенность, отчуждение от мира, уныние, «преждевременная старость души» и т. п. При этом Онегин оказывается всего лишь двойником Кавказского пленника² и воплощением на русской почве разочарованных героев Байрона «в том иронически-сниженном освещении, которое было типично для наиболее радикальных деятелей тайных обществ, в частности кишиневского окружения *П<ушкина>*» (Лотман 1980, 165). Конкретные детали пушкинского текста во внимание обычно не принимаются. Между тем приведенная выше строфа далеко не

так ясна и прозрачна, как это может показаться на первый взгляд, а ее финальное двуступище просто загадочно, поскольку содержит трудно разрешимое противоречие. В самом деле, если не скользить взглядом по строчкам, а внимательно в них вчитаться и осмыслить сказанное Пушкиным, если отдать себе отчет в том, что понимание каждого отдельно взятого слова еще не гарантирует понимания целого текста и отдельных его отрезков, — в этом случае перед нами с неизбежностью встанет ряд вопросов.

Какие «друзья» и какая «дружба» *надоели* Онегину? Те ли это друзья, о которых в черновом варианте строфы 30-й «Путешествия Онегина» сказано:

Итак я жил тогда в Одессе
Средь новоизбранных друзей
Забыв о сумрачном повесе
Герое повести моей —
<...> Каким же изумленьем,
Судите, был я поражен
Когда ко мне явился он!
Неприглашенным приведеньем <sic!> —
Как громко ахнули друзья
И как обрадовался я! —

(6: 504) ³

И та ли это дружба, о которой в начале следующей строфы той же рукописи говорится: [*Святая*] *дружба!* — — *глас природы* (6: 504)? Или, напротив, это те «друзья», которым посвящены горькие строки (4, XVIII, 8—14):

<...> Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

И строки следующей строфы (4, XIX):

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,

Которой бы ваш друг с улыбкой,
 В кругу порядочных людей,
 Без всякой злобы и затей,
 Не повторил сто крат ошибкой <...> ⁴

И если это так, если Онегин отошел от та к и х «друзей», вся «дружба» которых и с которыми исчерпывалась светским остроумием и совместным застольем, то — при всем поверхностном сходстве онегинской ситуации с ситуацией Чайльд Гарольда — какое, спрашивается, отношение имеет это отчуждение к «байроническому» «пресыщению» и «преждевременной старости души»?

Не больше оснований и для того, чтобы связывать с этим пресловутым «пресыщением» одновременное отчуждение Онегина от «шума света». Ведь это тот самый «свет», представители которого именуются «светской чернью» (4, XIX; 8, X), «презренной чернью» («Разговор книгопродавца с поэтом», 1824). Это, если иметь в виду его интегральный образ, сложившийся в языке и культуре пушкинской эпохи, тот самый *суетный, глупый, модный свет, докучный шум и блеск* которого соединяются с *чадом и удушьем* и в то же время с *мертвящим холодом*. Это *пустой*, но одновременно *полный лжи и обмана, безбожный, бездушный, безжалостный, беспощадный, немилосердный и убийственный свет*, власть которого над людьми представляется в обычных метафорах «цепей» и «сетей», «омута» и «могилы» (Пеньковский 1999д, 34—38). А светские красавицы, которых «оставил» Онегин (1, XLII), — это те самые «кокетки записные» (1, XII), «волшебницы, обманчивые, как ножки их» (1, XXXIV), те самые «причудницы большого света» (1, XLII) — все те, кого Пушкин называл еще «надменными ветренницами» (6: 550), «милыми шлюхами» (6: 351), «младыми» и «презрительными» (то есть заслуживающими презрения) Армидами и Цирцеями (6: 19, 261, 270; Пеньковский 1999б; 1999д, 79 и далее). При этом сказано, что эти «красавицы» *не долго были // Предмет его привычных дум* — именно *дум*, а не «чувств», не «желаний», не «мечтаний» и не «стремлений». Последнее говорит об преимущественно «головном» характере отношений Онегина с «красавицами» и вполне согласуется с Пушкинским переводом Овидиевой «Ars amatoria», или «Ars amandi» как «науки страсти нежной» — «науки» (с подчеркивающим повтором этого весомого слова в VIII строфе 1-й главы), а не «искусства», живущего не только головой, но и душой и сердцем ⁵.

Вот почему реакцией Онегина на «измены красавиц» оказывается не ревность, не муки уязвленного самолюбия, не отчаяние, не страдания

душевные и не тоска сердечная, а «утомление». Соединять эти «измены» именно с «красавицами» и понимать их как «измены красавиц» заставляют строки 4-й главы: *В красавиц он уж не влюблялся, // А волочился как-нибудь; // Откажут — мигом утешался; // Изменят — рад был отдохнуть* (4, X, 1—4)]. Здесь мы находим не только «изменяющих красавиц», но и глагол *отдохнуть*, отсылающий к глаголу *утомить* (1, XXXVII, 5), чтобы затем — сложением смыслов этой конверсивной пары — вернуть нас к «труду» и трудовой «мук» в стихе 1, VIII, 6. При этом в строфе 1, XXXVII (как и во многих других случаях) Пушкин намеренно не проясняет, «кто — кого — кому — о ком». Идет ли речь об изменах Онегину, и тогда — с чьей стороны? со стороны «красавиц»? или, может быть, со стороны «друзей», как в «Кавказском пленнике»?⁶ или мы должны думать об изменах Онегина, и тогда — кому? Постоянно предъявляя читателю загадки такого рода⁷, Пушкин побуждает нас ставить перед собой вопросы и в поисках необходимого ответа либо забегать вперед, либо возвращаться назад, действуя, так сказать, в «челночном» режиме чтения⁸.

Так в чем же виноват отвернувшийся от лжедрузей и лжедружбы и порвавший с «красавицами» Онегин? «<Н>ашъ свѣтъ — гробъ поваленный!» — гневно писал А. Бестужев, размышляя над судьбами русских людей, «которые бы могли прославить словомъ или дѣломъ свое отечество», но «гибнуть, дремля душой въ вихрь моднаго ничтожества», потому что им «не достаеъ собственной рѣшимости вырваться изъ бисерныхъ сѣтей свѣта», который «допускаеъ въ свой кругъ не иначе, какъ съ условіемъ носить на себѣ клеймо подобнаго, отраднаго ему ничтожества» (Бестужев 1825, 7—8). Онегину достало такой решимости. Он вырвался из этих «бисерных сетей», он, так же как рассказчик, «свергнул бремя условий света» (1, XLV, 1), — и что? То, за что ему вроде бы, следовало рукоплескать, уже полтора века служит основанием для самого жестокого осуждения — чего стоят высказывания того же Александра Бестужева!⁹

Вот почему в наших усилиях понять отделенный от нас всё углубляющейся временной, культурной и языковой пропастью «онегинский» текст так важно не упустить ни одного его знака, ни одного его слова, ни одной его строчки. Требуется самого вдумчивого обсуждения и финальное двустипное рассматриваемой здесь строфы.

2. Первым и едва ли не единственным, кто обратил на него внимание, был чуткий к деталям пушкинского текста В. В. Набоков. Процитировав занимающее нас место (*И брань и саблю и свинец*), он с по-

коряющей искренностью воскликнул: «Эта строка раздражающе туманна (This is an irritatingly vague line). Что именно разлюбил Онегин? Слово *брань*, подразумевающее военные действия (warfare), позволяет предположить, что около 1815 г. Онегин, подобно многим другим аристократам того времени, служил в действующей армии; однако более вероятно, что здесь, как показывает рукописный вариант, говорится о поединке (single combat)». И объяснил не столько себе, не столько нам, сколько самому Пушкину, что «для оценки дальнейшего поведения Онегина (в главе шестой) было бы крайне важно высказаться более ясно о его дуэльном опыте» (Nabokov 1964, 2: 149)¹⁰.

Вот варианты, к которым Пушкин долго примерялся в рукописях: *И хоть он был повеса пылкой, // Но предложить <sic!> им наконец // Устал [он] саблю иль свинец; Друзей то сабля, то свинец* (6: 243); *Но предлагать им наконец // Устал он саблю иль свинец; Устал же саблю иль свинец* (6: 551). Предметом размышлений Пушкина были и некоторые детали общей дуэльной практики этой эпохи, и особенности индивидуального дуэльного опыта Онегина. Из возможных инструментальных вариантов дуэли Пушкин с самого начала отказался от шпаги и палаша, оставив *саблю* (дуэль на саблях) и *свинец* (дуэль на пистолетах). Он предусмотрел нормальную для дуэли ситуацию выбора между видами оружия, поэтому называющие их слова и в черновой, и в белой рукописи связаны разделительным союзом *иль*. При этом перед автором естественно вставал вопрос о возможных противниках Онегина и о том, с чьей стороны могла бы исходить дуэльная инициатива: ср. вариант *Но предложить им наконец <...>*, где местоимение *им* может отсылать только к ранее названным «друзьям» и тем самым закрепляет вызов за Онегиным как оскорбленным, в отличие от варианту *Друзей то сабля то свинец*, где Онегину отводится роль вызываемого и, следовательно, оскорбителя.

Однако в окончательном тексте всё кардинально меняется: вводится слово *брань*, а место разделительного *иль* занимает соединительный союз *и*. Это говорит о коренном изменении предмета пушкинской мысли: *сабля* и *свинец* объединяются как отвергаемые Онегиным одновременно и в равной связи с *бранью*. Но слово *брань* (это понимал и Набоков) является знаком войны и только войны. Если *дуэль* — это поединок, в котором есть лишь два непосредственных участника, два противника («поединщика»), сходящиеся один на один; если *бой*, *битва* и *сражение* — это вооруженные столкновения с любым количеством участников (и, в частности, столкновение *д в у х*¹¹), то

брань — это вооруженное столкновение многих. Для обозначения дуэльного поединка оно никогда никем — и Пушкиным также — не использовалось¹². Место дуэли можно было назвать *полем боя*, *полем битвы* или *полем сражения* (и даже просто *полем*¹³), но ни в коем случае не *полем брани* и не *бранным полем*. Следовательно, *сабля* и *свинец* в перечислительном ряду с *бранью* уравниваются как виды оружия в о й н ы, а не дуэли.

Сказанным как будто вполне проясняется значение пушкинского выражения *разлюбить брань*. Согласно определению из «Словаря языка Пушкина», *разлюбить* — это «перестать находить удовольствие в чём-н<ибудь>» (СП, 944), в данном случае для Онегина это «что-нибудь» — *брань* 'война', и поскольку «перестать находить удовольствие в войне может только тот, кто ранее находил удовольствие в войне, приходится признать логически безупречным высказанное Набоковым предположение об службе Онегина в действующей армии («active duty in the army»). Непонятно, однако, откуда взялась уверенно указанная Набоковым дата — «около 1815 г.». Если считать датой рождения Онегина 1795 г. (Nabokov 1964, 2: 42), гораздо вероятнее было бы предполагать, что «повеса пылкой», следуя ли естественному патриотическому порыву, или пытаясь вырваться из безысходного круга тоски, владеющей его душой¹⁴, отправился на поле брани с Наполеоном в самом начале военной кампании шестнадцати- или семнадцатилетним юношей¹⁵.

Увы! Как ни соблазнительно это предположение, оно должно быть отвергнуто: *ab posse ad esse consequentia non valet* (из возможного еще не следует заключение о действительном). Участие героя в Отечественной войне против Наполеона — событие настолько значительное, что ограничить указание на него одним лишь туманным намеком Пушкин, конечно, не мог. Кроме того, поскольку «брань» в жизни Онегина могла быть лишь кратковременным эпизодом, сказать об утрате удовольствия от участия в ней: *Но разлюбил он наконец <...>* — Пушкину не позволил бы язык. Для Пушкина, как и для нас сегодня, наречие *наконец* имело три основных значения.

(1) Характеристика определяемого действия как некоего завершающего этапа длительного нецеленаправленного (неконтролируемого) процесса. Именно так, чтобы «промотаться н а к о н е ц», отец Онегина должен был длительное время транжирить свое состояние, что он и делал, «живя долгами» и «давая три бала ежегодно» (1, III, 2—4). И так же, чтобы можно было задаться горестным вопросом: *Ужель и*

вправду **наконец** // Увял, увял ее венец² (6, XLIV, 7—8) — этот «венец младости» должен был пережить долгое увядание¹⁶.

(2) Характеристика определяемого действия как желаемого и достигнутого результата другого целенаправленного (контролируемого) действия. Именно так сваха должна была «недели две ходить к родне» няни, чтобы ее «наконец благословил отец» (3, XVIII, 9—11), а Татьяне (или Лариной-старшей) пришлось достаточно долго уговаривать купца, чтобы «наконец» «он уступил» ей «за три с полтиной» сонник Мартына Задеки (5, XXIII, 1—6).

(3) Характеристика определяемого действия как последнего и притом особенно показательного и яркого акта в некотором более или менее длинном ряду актов. Именно так Ларина-мать постепенно изживала формы квазиромантического поведения своих молодых лет, переходя к обычному для захолустной помещицы затрапезу, и опустила до такой степени, что **обновила наконец** // На вате шлафор и чепец (2, XXXIII, 1—14).

Поскольку наречие **наконец** в стихе 1, XXXVII, 13 (*И разлюбил он наконец <...>*) невозможно понимать ни в первом значении ('разлюбивал-разлюбивал и в конце концов разлюбил'), ни во втором ('разлюбил в результате каких-то действий иного субъекта'), из трех возможных его значений остается только третье (близкое к 'даже'), однако оно несовместимо с интерпретацией целого в «бранно-военном» смысле. Сказать «и даже перестал находить удовольствие в войне», имея в виду кратковременное событие прошлого, к тому же находящееся в ином прошедшем времени, чем события, названные в предшествующих членах перечислительного ряда («измены красавиц», кутежи с «друзьями» и проч.), по нормам русского языка недопустимо.

Таким образом, можно почти с полной уверенностью утверждать, что в войне 1812 года Онегин не участвовал. Мог бы участвовать, как граф Кутайсов, который в 15 лет (!) был уже полковником гвардии; как те юные смельчаки, которые, *пусть в пятнадцать лет на волю, // Привыкли [нехотя] лишь к пороху [да к] полю* (7: 246); как романый Петя Ростов или как вполне реальный 19-летний корнет Александров — «кавалерист-девица» Н. А. Дурова. Мог, и, по всем соображениям, должен был бы участвовать¹⁷, но не участвовал, и Набоков это, несомненно, понимал. Потому и высказался на этот счет осторожно и предположительно, отдав в конечном итоге предпочтение дуэльному варианту. «Но при чем все-таки „брань“?» — недоумевал он (Набоков-Сирин 1957, 44). Осознавая, что это слово

препятствует истолкованию «сабли» и «свинца» в «дуэльном» смысле, он вынужден был апеллировать к свидетельствам рукописей, которые действительно говорили об онегинских дуэлях¹⁸.

3. В пользу предположения о дуэльном опыте Онегина можно было бы указать, что, отправляясь из Петербурга в деревню, он захватил с собой *ящик боевой*, в котором хранились *Лепажа стволы роковые* (6, XXV, 8, 12). Однако на самом деле этот факт не говорит решительно ничего ни «за», ни «против». Ленский тоже держал пистолеты наготове: *Домой приехав, пистолеты // Он осмотрел, потом вложил // Опять их в ящик <...>* (6, XX, 1—3). Онегин не сделал и этого: вспомнив о своем оружии в самый последний момент, он так и не взял «боевой ящик» в руки и даже не взглянул на пистолеты, целиком положившись на слугу (6, XXV). Что за этим стоит? Спокойная вера опытного дуэлиста в себя и в свое оружие или спокойная готовность Онегина к любому исходу, которая лишь на один миг отступила перед неконтролируемым импульсом инстинкта самосохранения? И не этим ли постоянным безразличием Онегина к своей судьбе, его готовностью в любую минуту «прежний путь переменить на что-нибудь» (1, LIII, 13—14) объясняется его загадочно безмятежный сон в дуэльное утро и опоздание к назначенному сроку — опоздание, в котором обычно видят еще одно сознательно нанесенное им Ленскому оскорбление (Набоков 1964, 3: 40; и др.)?

Не пропустив дуэльные строки в окончательный текст обсуждаемой строфы (1, XXXVII), Пушкин нигде более не обмолвился о дуэльном опыте Онегина, предшествующем его «бюю» с Ленским. Но если так, то вполне резонно предположить, что такого живого практического опыта у Онегина и не было. А это — Набоков прав — исключительно важно для оценки поведения Онегина на дуэли.

Как человек своего времени, как дворянин с обостренным чувством чести Онегин, разумеется, еще мальчиком узнал, что бывают ситуации, когда эту честь приходится защищать с оружием в руках. Ему было известно, как это обычно делается, поскольку основные положения неписаного дуэльного кодекса входили в репертуар обязательных сведений, общих для всех людей его круга, и потому, когда Зарецкий доставил ему *приятный, благородный, // Короткий вызов иль картель* (6, IX, 1—2), Онегин (хорошо усвоив, как в таких случаях положено поступать) *с первого движенья, // К послу такого порученья // Оборотясь, без лишних слов // Сказал, что он всегда готов* (6, IX, 5—8). Именно на этом пункте — «с первого движенья» — обличители

Онегина основывают одно из главнейших своих обвинений, инкриминируя ему бесчеловечный, мертвый «автоматизм». Я же предлагаю увидеть в реакции Онегина не автоматизм бездушного мертвеца (ср. Непомнящий 1996, 142), а автоматизм человека, хорошо усвоившего предписания сухой теории, но никогда ранее не применявшего их в собственной живой практике. Всё становится на свои места, если мы увидим в дуэли Онегина с Ленским первую в их жизни дуэль. Это кажется вполне убедительным в отношении Ленского. Однако и Онегин, как мы помним, с горечью задавался вопросом *Зачем я пулей в грудь не ранен?* («Путешествие», <IV>, 6). В этом вопросе, конечно, следует видеть терзания Онегина, сокрушавшегося при воспоминании о гибели Ленского («Зачем он, а не я?!»), но не значит ли это, что у Онегина не было других шансов получить ранение, кроме как на дуэли с Ленским? Или же были другие дуэли, но без ранения? (Первая возможность представляется мне более предпочтительной.) И еще: имея в своем распоряжении «боевой ящик» с «роковыми стволами», Онегин вплоть до самой дуэли, по-видимому, даже не пригравивался к ним. Создатель Онегина передал ему в наследство и полный разрыв с соседями (2, V)¹⁹, и свое обычное времяпровождение (4, XXXVII—XXXIX)²⁰, и ежеутреннюю «ванну со льдом», и целодневный «бильярд в два шара» (4, XLIV, 3, 7), и многое, многое другое — в сущности всё, кроме поэтического дара, любви к народным сказкам и... регулярной тренировки в стрельбе²¹.

Онегин не был ни демоническим героем, ни злодеем и ничьей крови не жаждал. «Злоба слепой Фортуны и людей» (1, XLV, 10—11) отравляла его жизнь, но не требовала дуэльного разрешения. Иные «друзья» изменяли и предавали, но не наносили оскорблений, которые можно смыть только кровью. Сам же Онегин, хотя и мог «язвительно злословить, когда хотелось уничтожить ему соперников своих» (1, XII, 3—5), тем не менее, надо думать, не переходил границ, за которыми в дело вступают секунданты. И все другие, кто имел право потребовать его к барьеру, не делали этого. «Блаженные мужья» тех женщин, с которыми Онегин сближался, «оставались с ним друзья» (2, XII, 7—8) или, как сказано в другом месте, одаривали его своей «тяжкой дружбой» (4, VIII, 14). Не преследовали его ни отцы, ни братья, ни претенденты на руку и сердце соблазняемых им «невинностей» (1, XI, 2)²². Ленский был, по всей видимости, первым, кто бросился на защиту «невинности» (которой вообще ничего не угрожало) и послал Онегину вызов.

Онегин не ждал вызова и приезд Зарецкого поначалу воспринял как обычный визит, не связанный с событиями предыдущего дня. Картель Ленского застал его врасплох, и именно поэтому в нём сработал автоматизм ученика, хорошо выучившего преподанное ему правило: «На вызов надобно отвечать *всегда готов!*» Потом и раздумье пришло, и совесть заговорила (6, X), но было поздно. Он понимал, что сам Зарецкий палец о палец не ударит, чтобы предотвратить нелепую дуэль. И не было второго секунданта, который мог бы попытаться привести дело к миру. Онегину просто не к кому было обратиться. Рядом с ним не было ни одного порядочного и разумного человека, и времени на поиски тоже не было²³. Вот почему — а вовсе не по незнанию правил дуэльного кодекса или из пренебрежения ими и уж тем более не из желания оскорбить Ленского (Nabokov 1964, 3: 40—41) или Зарецкого (Лотман 1980, 98) — Онегину пришлось взять в секунданты своего слугу-француза, который мог исполнить лишь роль статиста.

Оба участника этой дуэли были одинаково неопытны, и шансы погибнуть или уцелеть у обоих были равны. Гибель Ленского оказывается роковой случайностью, а ответственность за то, что произошло, лежит не только на Онегине, но и на Ленском, так как именно ему принадлежит инициатива вызова (ср. Волохонская 1993, 30). Исследователи дуэльной традиции согласны в том, что Онегин не хотел смерти приятеля²⁴; его первая реакция — это реакция человека, непритворно потрясенного случившимся (6, XXXI, 7—10). И *окровавленная тень* Ленского (вспомним «кровавых мальчиков» «в глазах» Бориса Годунова), являвшаяся *каждый день* Онегину и погнавшая его по свету (8, XIII, 7—10), тоже говорит нам об Онегине не как о хладнокровном убийце. Очень существенно, что повествователь (за которым стоит сам Пушкин — теоретик и практик дуэльного дела) вполне сочувственно описывает нравственные муки терзаемого «сердечными угрызениями» Онегина (6, XXXV, 1—7), а «горожанка молодая» (6, XLI, 5) не находит для «убийцы юного поэта» более сильных слов осуждения, чем *этот пасмурный чудак* (6, XLII, 11—12).

Что касается *сабли* как оружия дуэли, то Онегин, с «прямым благородством» его «души» (4, XVII, 5), с его «гордостью» и «прямой честью» (8, XLVII, 10—11), скорее всего, не мог ее «разлюбить» по той причине, что он вряд ли мог полюбить ее. Пункт 499 позднейшего «Дуэльного кодекса» В. Дурасова гласит: «Хотя дуэль на саблях принадлежит к числу законных дуэлей, но употребляется редко, и оскорбитель имеет право отказаться от нее <...> и оскорбленный обя-

зан избрать другой законный род оружия для дуэли» (Гордин 1996, 250). Так же считалось и в пушкинское время. Объясняется это тем, что фехтовальная дуэль почти никогда не приводила к большой крови; на нее шли драчуны-фанфароны и трусливые забияки, которые, предлагая сабельный вызов, наперед были уверены, что жизнью они не рискуют. Вызванный, если он обладал чувством собственного достоинства, как правило с негодованием отвергал саблю, а если и принимал ее, то лишь презрительно снисходя к слабости противника²⁵. Не зная этого Онегин не мог, как не мог не зная этого и Пушкин. «Двадцать лет — от Лицея до гибели — дуэль непрестанно занимала мысли Пушкина²⁶ <...> Право на дуэль, способы осуществления этого права — выводы из обширного знания дуэльных ситуаций были одним из краеугольных камней его экзистенциальных построений» (Гордин 1987, 21). Была в его «послужном списке» и сабельная — именно по этой причине не состоявшаяся — дуэль.

Как известно, в ночь с 4 на 5 июня 1821 г. в Кишиневе произошло столкновение Пушкина с французом Дегильи. Пушкин потребовал стреляться. Дегильи, трусливо отказавшись от пистолета, настаивал на сабле и разыграл при этом позорную сцену. Взбешенный Пушкин написал ему 6 июня: «К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера». «Недостаточно быть трусом <в подлиннике: „un J. F.“, то есть *un Jean Foutre* 'membrum virile'. — *А. П.*>, нужно еще быть им в открытую. Накануне паршивой дуэли на саблях <в подлиннике: „d'un foutu duel au sabre“, где *foutu* — *part. pass.* от *foutre* 'futuere'; наверное, лучше было бы перевести: „паскудной дуэли на саблях“. — *А. П.*> не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта». «Заметьте, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли» [13: 30 (текст), 522—523 (перевод); ср. 12: 304]. Нет, «паскудная» дуэль на саблях была, как сказал бы Набоков, «совершенно не в характере Онегина» (ср. Nabokov 1964, 3: 41)²⁷.

4. Итак, мы можем еще раз со всей определенностью сказать: финальная строка строфы 1, XXXVII такова, что от какого бы слова или словесного комплекса в ее составе мы ни отправлялись, однозначное толкование заключенного в ней смысла в рамках рассмотренных выше подходов недостижимо. Если бы в нашем трехчленном ряду не было интегрирующей *брани*, то, не возвращаясь к первоначальному, от-

вергнутому Пушкиным дуэльному варианту, можно было бы понимать *саблю* в «военном», а *свинец* — в «дуэльном» смысле. Тогда мы имели бы случай повесы, бравого воина и дуэлянта Р. И. Дорохова: *Ты прострелен на дуэле, // Ты разрублен на войне* («Счастлив ты в прелестных дурах...», 1829; ср. Цявловская 1959, 716). Если бы в этом трехчленном ряду не было *сабли*, то *брань* говорила бы о войне, а *свинец* можно было бы связывать с дуэлями. Тогда мы получили бы ситуацию Кавказского пленника: *Любил он прежде игры славы // И жаждой гибели горел. // Невольник чести беспощадной, // Вблизи видал он свой конец, // На поединках твердый, хладный, // Встречая гибельный свинец* (I, 347—352). В трехчленном же сочетании ни распределить эти элементы так или иначе, ни свести их к тому или другому общему знаменателю оказывается невозможно. «Военная» семантика слова *брань* категорически исключает возможность интерпретации следующих за ним в сочинительном ряду слов *сабля* и *свинец* в «дуэльном» смысле. Вместе с тем, понимание целого этой строки как свидетельства о военном опыте юного Онегина должно быть решительно отвергнуто (см. выше).

В этой связи можно было бы вспомнить высказанное в свое время Н. Л. Бродским предложение понимать рассматриваемую пушкинскую фразу как свидетельство о том, что Онегин, «подобно Чацкому <...> мог увлечься „расшитым и красивым мундиром“ и даже носить его некоторое время, как это было в жизни Грибоедова и др., не встречаясь с „свинцом“ „на поле битв“ (на поле брани). Но так как в биографии пушкинского героя нет точного указания на его военную службу, то признание, что Онегин когда-то любил „брань, саблю и свинец“, может быть истолковано как указание на связи статского молодого человека с военными, на его тяготение к кружку военной молодёжи». «Но Онегин разлюбил „и брань, и саблю, и свинец“, т<о> е<сть> <!> перестал бывать и на собраниях военной молодёжи. Причины этого перелома указаны в романе: в Онегине „чувства остыли“, он „к жизни вовсе охладел“» (Бродский 1950, 54, 55). Искусственность этого объяснения очевидна. Онегин (хотя об этом ничего не сказано) мог, конечно, полюбить (а потом «разлюбить») «красивый» гусарский или кавалергардский «мундир». Он мог, разумеется, полюбить и *саблю* — не как недостойное благородного человека оружие «паскудной» дуэли, а как честное, овеянное романтической дымкой и пороховым дымом боевое оружие. Боевая сабля — это один из важнейших элементов целостного «гусарского» комплекса, в который входят и доломан, и кивер

зверски набекрень», и «жестокой ментик за спиною», и «ташка с царским вензелём», и «ухарский конь» с «узорным чепраком», шпоры, «два любезные уса» и «виски́ горою», а также «трубка с табаком», водка, «шампанского оттычки», «обширные чаши», полные вина, и «пуншевые стаканы»...²⁸ Така я сабля — «бранная подруга»²⁹, ее признаки — «блеск» и «ясность», сфера ее действия — «кровавый бой», «пламенные сраженья» и «шумная сеча»; ее поэтические синонимы — «меч» и «булат». Но *свинец* как метонимия пули (и только через пулю также пистолета или ружья) к ряду «красивых» знаковых вещей может быть причислен с большой натяжкой. Ну, а *брань* как свидетельство «тяготения» Онегина к «кружку военной молодежи» просто не выдерживает никакой критики. Ответа на волнующий нас вопрос мы и здесь не находим.

Как же быть? Неужели пушкинская загадка неразрешима? Нет! Именно Бродский подсказывает направление, в котором следует двигаться. Ведь его мысль о «мундире» и «сабле» оказывается весьма плодотворной, если только подходить к ним не как к предметам реальной экипировки, а как к предметам юношеской романтической мечты. Той мечты, которая овладевала сознанием множества молодых людей пушкинского времени, чтобы затем одних на всю жизнь приковать к армейской службе, а для других навсегда потерять свой блеск и привлекательность, как это произошло с лирическим героем Пушкина.

Начиналось на обычном для этой эпохи возрастном рубеже 15—16 лет с мечты лицейского затворника-«монаха» о бегстве — почти по Бродскому — в веселый и разгульный мир «военной молодежи», который манил исключительно внешней, «красивой» стороной:

О Галич, время неозвратно,
И близок, близок грозный час,
Когда, послыша славы глас,
Покину келья кров приятный <...>

Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я — питомец важных Муз —
В числе воюющих корнетов!³⁰

(«К Галичу», 1815)

Мысль о войне живет где-то в глубине сознания и дает о себе знать глухим и туманным намеком в перифрастическом «гласе славы». Очень скоро, однако, эта мысль прояснится. Прояснится пока еще в расплывчатых символических образах и тут же будет отвергнута:

Пускай, удара в звучный щит
 И с видом дерзновенным,
 Мне Слава издали грозит
 Перстом окровавленным,
 И бранны вьются знамена,
 И пышет бой кровавый —
 Прелестна сердцу тишина;
 Неиду, неиду за Славой.

(«Мечтатель», 1815)

Затем эта мечта о славе вернется в период общего патриотического подъема, вызванного победоносным завершением военной кампании, вместе с сетованием на непричастность к «великим делам»:

Сыны Бородина, о Кульмские герои!
 Я видел, как на брань летели ваши строи;
 Душой восторженной за братьями спешил.
 Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
 Почто, сжимая меч младенческой рукою,
 Покрытый ранами, не пал я пред тобою
 И славы под крылом наутре не почил?

(«На возвращение Государя Императора...», 1815)³¹

Мечта о славе «находит» и «исчезает», волнует воображение:

Среди воинственной долины
 Ношусь на крыльях я мечты,
 Огни во стане догорают;
 Меж них, окутанный плащом,
 С седым, усатым казаком
 Лежу — вдали штыки сверкают,
 Лихие ржут, бразды кусают,
 Да изредка грохочет гром,
 Летя с высокого раската...
 Трепещет бранью грудь моя,
 При блеске бранного булата,
 Огнем пылает взор, — и я
 Лечу на гибель супостата. —
 Мой конь в ряды врагов орлом
 Несется с грозным седоком —
 С размаха сыплются удары.
 О вы, отеческие Лары,
 Спасите юношу в боях!
 Там свищет саблей он зубчатой,
 Там кивер зыблется пернатый;
 С черкесской буркой на плечах,
 И молча преклонясь ко гриве,

Он мчит стрелой по скользкой ниве,
С цыгаррой дымною в зубах...

(«Послание к Юдину», 1815)

И через два года, в 18 лет, будет думаться и чувствоваться так же:

Но что прелестней и живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней бранных дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров? <...>

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла.

(«Послание В. Л. Пушкину», 1817)

А еще двумя годами позже, уже после Лицея, ситуация изменится:

Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты! <...>

Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов <...>

И буду ждать. — Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей,
И брани громкой вызов грянет,
Тогда покину мир полей <...>

В шатрах, среди сечи, среди пожаров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

(«Орлову», 1819)

В этих текстах обнаруживаются и *мундир*, и *сабля*, и не получающая объяснения в рамках гипотезы Бродского *брань*. А в послании «Орлову» мы находим две ключевых фразы: <...> *я забываю* // *Свои гусарские мечты* и *смирив немирные желанья* — фразы, которые про-

ливают свет на онегинское *разлюбил*. Стихи 1, XXXVII, 13—14 (*И разлюбил он наконец // И брань и саблю и свинец*) могут быть непротиворечиво и без натяжек истолкованы следующим образом: «и даже перестал мечтать об участии в войне, о сабельных рубках и ружейных перестрелках».

5. Предложенное толкование глагола *разлюбить* ('перестать мечтать о чем-либо, перестать желать чего-либо') не отмечено толковыми словарями (в том числе и «Словарем языка Пушкина»), но оно точно отражает языковую реальность пушкинской эпохи. Это значение надежно подтверждается соответствующим (совершенно невозможным в современном языке) употреблением исходного *любить*, еще к тому же усиленного семантически близким *ласкать* (ср. *ласкать себя мечтой*), которое мы находим в одном из самых мрачных стихотворений позднего Баратынского: *Летел душой я к новым племенам, // Любил, ласкал их пустоцветный колос <...>* («Опять весна; опять смеется луг...», 1842—1844). *Лететь душой* — перифрастический оборот, значение которого можно толковать так: 'мысленно, в мечтах стремиться навстречу с приветствием, надеждой и верой'³². А в следующей строке, отсылающей к евангельской притче о сеятеле, Баратынский говорит, что его надежды на «плод сторичный» (Лк 8, 8) не оправдались: «колос», который он *любил* и *ласкал*, с которым он связывал свои мечты, оказался «пустоцветным». В близком значении глагол *любить* употреблен в стихотворении Баратынского «Из А. Шенье» (1828), где описаны мечты о самоубийстве: *Гляжу с отрадою на близкую могилу, // Приветствую ее, покой ее люблю, // И цепи отряхнуть³³ я сам себя молю*. Это значение подтверждается и соответствующим значением конверсивного *полюбить* 'начать мечтать о чем-л., страстно желать чего-л.', также не имеющим словарной фиксации, но засвидетельствованным приведенным ниже фрагментом из воспоминаний кн. А. Шаховского о 1812 годе, записанных через четверть века (1836): «<Наполеонъ> загородился съ своей старой гвардіей въ Кремль отъ шумнаго ропота голодающихъ Французовъ. Онъ имъ издалека еще показывалъ Москву, какъ вѣнецъ ихъ трудовъ, общалъ въ ней довольствіе, обогащеніе и самый прибыльный миръ, котораго они давно требовали и который онъ, въ тогдашнее время, столько же долженъ былъ полюбить, сколько нашъ Императоръ и Русскіе возненавидѣть» (Шаховской 1886, 387).

Полюбить мир и *возненавидеть мир* в этом контексте — обычные, на первый взгляд, выражения, которые в действительности совсем не

просты и, хотя как будто вполне понятны, в чём-то не вполне правильны. Достаточно на минуту сосредоточиться на них, чтобы осознать, что они чем-то задевают наше языковое чувство, что они противоречат какой-то неизвестной, никем и нигде не сформулированной узуальной языковой норме. Если попытаться сформулировать эту норму, пусть хотя бы в самом первом приближении, то можно было бы сказать, что глаголы *любить* и *ненавидеть* (со всеми их производными) — это глаголы объектно-направленного чувственного действия и что их объект, независимо от времени их осуществления (в настоящем, прошедшем или будущем) — это всегда реальный объект, то есть такой объект (предмет, действие или состояние), который наличествует, будет наличествовать или наличествовал в жизненном опыте субъекта любви-ненависти³⁴. Например, только тот, кто знает войну не понаслышке, может полюбить или, наоборот, разлюбить ее, как это произошло с лирическим героем «поэта-партизана» Д. Давыдова: *Я не хочу войны, я разлюбил войну; // Я в мыслях, я в душе храню тебя одну* («О, кто, скажи ты мне, кто ты...», 1834; начальная редакция). Но когда о Наполеоне говорится, что он «должен был полюбить мир», то — поскольку речь идет о заключении мира, позорного для Наполеона, в жизненном опыте которого ничего подобного никогда не было — имеется в виду не любовь Наполеона к миру, а его мечта о таком мире как о единственном, хотя и унижительном пути спасения себя, остатков армии и престижа государства. И если *полюбить* у Шаховского имеет значение 'начать мечтать', то его же *возненавидеть* должно пониматься как 'исполниться презрением'³⁵. Такое истолкование фразы Шаховского находит подтверждение в бесчисленном множестве текстов этой эпохи, повествующих о стремлении Наполеона к миру и о презрительном отношении к этой идее со стороны русских³⁶.

Из вышесказанного следует, что глаголы *любить* — *полюбить* — *разлюбить* в языке пушкинской эпохи захватывали те сегменты семантического поля, которые для нашего языкового сознания принадлежат исключительно глаголам *мечтать* (о чем-л.), *надеяться* (на что-л.), *желать* (чего-л.), *помышлять* (о чем-л.), *стремиться* (к чему-л.), *алкать* (чего-л.), *жаждать* (чего-л.) и др. Характерная для языка того времени экспансия глагола *любить* и его производных на сопредельную семантическую территорию имеет еще одно следствие. Они свободны не только от действующего сегодня ограничения, связанного с требованием обязательного вхождения их объектов в наличный жизненный опыт субъекта. Они не знают и другого современного ограни-

чения, полностью исключаящего их употребление по отношению к ментальным объектам (то есть существующим исключительно во внутреннем мире субъекта). В начале XIX в. всё было иначе, и только приняв это во внимание, мы поймем целый ряд формульных построений поэтического языка Пушкина:

Узнай любовь, — неведомую мне, —
 Л ю б о в ь н а д е ж д, восторгов, упоенья <...>
 («Кюхельбекеру», 1817)

Л ю б и, ласкай свои ж е л а н ь я,
 Надежде, сердцу слепо верь.
 [«Послание к Алексею», 1821 (2, кн. 2: 735)]

Не спрашивай, за чем душой остылой
 Я р а з л ю б и л веселую л ю б о в ь
 И никого не называю *милой* —
 Кто раз любил, уж не полюбит вновь <...>
 («К ***», 1817)

Я пережил свои желанья,
 Я р а з л ю б и л свои м е ч т ы;
 Остались мне одни страданья,
 Плоды сердечной пустоты.
 («Я пережил свои желанья...», 1821)

Последние две цитаты особенно значимы в контексте наших размышлений, так как «разлюбил» свою (правда, совсем не «веселую») любовь, «пережил свои желанья», «разлюбил свои мечты» и юный Онегин. За кругом его чувств и переживаний здесь, как и во множестве других случаев стоит, конечно, сам Пушкин, который в позднем своем отрочестве мечтал и о мундире, и о брани, и о сабле, и о свинце, а в юности вжился в этот военный мир настолько, что представлял свое участие в нем как бы свершившимся фактом:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
 От первых лет поклонник бранной Славы,
 Люблю войны кровавые забавы,
 И смерти мысль мила душе моей.
 («Мне бой знаком...», 1820)

О том же писал Баратынский:

Влюбился я, Полковникъ мой,
 Въ твои военные рассказы!
 Проказы жизни боевой
 Ни какъ веселья проказы!

Не презрю я въ душѣ моей
 Судьбою мирнаго лѣнтя;
 Но мнѣ война еще милѣй;
 И я люблю тебѣ внимая —
 Жужжанье пуль и звукъ мечей.
 Какъ сердце жаждетъ бранной славы,
 Какъ духъ кипитъ, когда порой
 Мнѣ хвалить ратныя забавы
 Мой беззаботливый Герой!
 Прекрасный видъ! — Въ весельи дикомъ
 Вы мчитесь грозно — дымъ столбомъ!
 Оружій блескъ! Оружій громъ!
 Разбитый врагъ покрытъ стыдомъ,
 И страшный бой, съ побѣднымъ кликомъ
 Вы запиваете виномъ.

(Баратынский 1824, 259—260)

За Онегинымъ стоитъ также Пушкинъ — авторъ «Войны» (1821), поэтической «мечты», переживаемой какъ реальность (в первоначальной редакціи стихотворение назвалось «Мечта воина»):

Война! Подъяты наконецъ,
 Шумятъ знамены бранной чести!
 Увижу кровь, увижу праздникъ мести;
 Засвищетъ вкругъ меня губительный свинецъ.
 И сколько сильныхъ впечатленийъ
 Для жаждущей души моей!
 Стремленье бурныхъ ополченийъ,
 Тревоги стана, звукъ мечей,
 И в роковомъ огне сраженийъ
 Паденье ратныхъ и вождей!
 Предметы гордыхъ песнопенийъ
 Разбудятъ мой уснувшій гений! —
 Всё ново будетъ мне: простая сень шатра,
 Огни враговъ, ихъ чуждое взыванье,
 Вечерний барабанъ, громъ пушки, визгъ ядра
 И смерти грозной ожиданье.

Здѣсь Пушкинъ вводитъ еще одну чрезвычайно важную тему:

И всё умретъ со мной <...>
 И ты, и ты, любовь!... Ужель ни бранный шумъ,
 Ни ратныя труды, ни ропотъ гордой Славы,
 Ничто не заглушитъ моихъ привычныхъ думъ?
 Я таю, жертва злой отравы:
 Покой бежитъ меня, нетъ власти надъ собой,
 И тягостная лень душою овладела...
 Что жъ медлитъ ужасъ боевой?
 Что жъ битва первая еще не закипела?

Эта тема — тема любовной тоски, «злой отравы», которая владеет сознанием и лишает способности действовать. Отсюда «тягостная лень» и надежда на «войну» как последний выход из этого мучительного состояния³⁷. Иные, действительно, находили в ней спасение³⁸; но, как мы хорошо знаем по живому опыту многих и многих, надежда эта очень часто не сбывалась. Прошел через это испытание, например, Батюшков³⁹. Прошел — сначала в мечтах, а позднее в реальности — Пушкин, который бросился на войну, рискуя своим положением и отношениями с императором и двором. Прошел через мечты о войне и Онегин, но его тоска оказалась сильнее: *И разлюбил он наконец // И брань и саблю и свинец.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Произведения Пушкина здесь и далее цитируются по большому академическому изданию (Пушкин 1937—1949); при ссылках на это собрание указываются только номера томов, полутомов (книг) и страниц.

² Ср.: «Сопоставляя образы Онегина и пленника, можно установить, что происхождение, образ жизни и душевный мир обоих вскрывают в какой-то мере единый социальный тип, обрисованный однородными приёмами» (Бродский 1950, 97).

³ Поскольку одесские друзья повествователя недвусмысленно и нестандартно названы здесь *новоизбранными* (ср. в прославленном «19 октября» 1825 г.: *Из края в край преследуем грозой, // Запутанный в сетях судьбы суровой, // Я с трепетом на лоно дружбы новой, // Устав, приник ласкающей главой...*), мы имеем все основания предполагать, что Онегина до этой встречи они никогда не видели и, следовательно, могли знать о нем только со слов его и их петербургского друга. Что же и как он должен был рассказывать им об Онегине, чтобы его приезд вызвал у них удивление, смешанное с радостью и восхищением? Эта непрякая характеристика Онегина скрывает бездну смыслового пространства и стбит целой строфы эпитетов и пространных описаний.

⁴ Ср. «Коварность» (1824), где мы находим в развернутом виде все эти мотивы, и проникнутую такой же горечью «Дружбу» (1824—1825). Предательство и измена друзей волновали Пушкина на протяжении всей его жизни. Ср. в черновом автографе стихотворения «Вновь я посетил...» (1835): *Я размышлял о грустных заблужденьях // Об испытаньях юности моей. // О строгом, заслуженном осуждении <вариант: О клевете, о строгом осуждении> // О [мнимой] дружбе, сердце уязвившей // Мне горькою [и] ветреной <?> обидой* (3, кн. 2: 999, ср. 1004 примеч. 3).

⁵ В других случаях, когда Пушкин говорит о любви, страсти и страстях, он обычно присоединяет к думам о «предмете» указания на сопутствующие им движения души и сердца. Ср.: *<...> Когда тоска обманчивых желаний // Объемлет нас и душу тяготит, // И всюду нас преследует, томит // Предмет один и*

думы и страданий <...> [«Гавриилиада», 105—108 (1821)]; Но, получив посылке Тани, // *Онегин живо пронут был: // Язык девических мечтаній // В нем думы росм возмутил* <...> *Быть может, чувствій пыл старинный // Им на минуту овладел* <...> («Евгений Онегин», 4, XI, 1—4, 9—10; определение старинный отсылает не к его отношениям с «красавицами», а к утаенному юношескому роману Евгения с роковой женщиной, погрузившей его в пучину страстей); *День целый Анджело безмолвный и угрюмый // Сидел, уединясь, объ-яют одною думой, // Одним желанием* <...> *Что ж это? — мыслит он, — // Ужель ее люблю, когда хочу так сильно // Услышать вновь ее и взор мой усладить // Девичьей прелестью?* [«Анджело», 2, I, 1—7 (1833)].

⁶ Ср.: *Людей и свет изведаль он // И знал неверной жизни цену. // В сердцах друзей нашед измену, // В мечтах любви безумный сон* («Кавказский пленник», I, 71—74). Сопоставление сделано Н. Л. Бродским (1950, 97).

⁷ См. цикл моих работ, посвященных «загадкам пушкинского текста и словаря»: Пеньковский 1999а; 1999б; 1999в; 1999г; 2000.

⁸ Действительно, та же тема возникает и в третий раз — в 8-й главе, где Пушкин рассказывает о видениях Онегина из времен его петербургской юности: <...> *То видит он врагов забвенных, // Клеветников, и трусов злых, // И рои изменниц молодых, // И круг товарищей презренных* (8, XXXVII, 9—12). Ср. полное и точное воспроизведение этой же ситуации в пушкинском «Мне вас не жаль...», написанном за три года до 1-й главы «Онегина», и в тогда же созданной элегии «Погасло дневное светило...».

⁹ Об оценке Онегина А. Бестужевым обычно говорят, основываясь на его письмах Пушкину. Вот еще одно очень яркое его высказывание в письме к братьям (25.XII 1828): «Характеръ Евгения просто гадокъ. Это безстрастное животное со всѣми пороками страстей» (Семевский 1870, 249).

¹⁰ Заодно Набоков пояснил, что, сказав *Шампанской обливать бутылкой* (вместо *бутылкой шампанского*), Пушкин допустил «грамматическую погрешность» (Nabokov 1964: 2, 149). Погрешность, однако, допустил не Пушкин, а Набоков, не принявший во внимание, что в этом обороте отразилось общее для языка пушкинской эпохи явление свободного перевода родительного примененного в согласованное определение: «За жаркимъ наливалось почетнѣйшимъ изъ гостей по бокалу Шампанскаго <...> Менѣ почетнымъ наливалось по бокалу Донскаго, а третьему разряду <...> наливалось бурое Цимлянское, но все таки въ Шампанскихъ бокалахъ» (Бутурлин 1897, 411; разрядка моя. — А. П.). Ср.: «приданая роспись» < *роспись приданого* (Дмитриев 1869, 10); «мѣховая торговля» < *торговля мехами* (Греч 1873, стб. 277); «овощной продавецъ» < *продавецъ овощей* (Сахаров 1873, стб. 906); «Турецкій, Итальянскій, Латинскій учитель» < *учитель турецкого (итальянского, латинского) [языка]* (Муравьев 1886а, 132); «танцовальный, фортепiанный учитель» < *учитель танцев, [игръ на] фортепiано* (Бурнашев 1872, стб. 1791) — и даже «всевозможный знатокъ» < **знатокъ всего, что возможно* [«Жеребцовъ, который особенно умѣлъ составить себѣ репутацію всевозможнаго знатока <...>» (Инсарскій 1873, стб. 584)]. Ср. также: «историческія лекціи» < *лекции по истории* (Кайданов

1832, т. л.); «логическія лекціи», «логич<ескія> тетр<ади>» < лекции (тетради) по логике [Снегирев 1902, № 7: 371; № 8: 574 (записи от 8.X 1823 и 24.V 1825)]; «холерные слухи» < слухи о холере [Вяземский 1951, 213 (письмо Карамзинным от 30.V 1831)]. Ср. у Пушкина: *голос лирный* («Евгений Онегин», 1, LV, 3), *говор ключевой* (7, VI, 7), *холод ключевой* («Гроб юноши», 1821), *подобно горсти пыльной* [«Подражания Корану», VIII (1824)] и др. То же в случаях с именами собственными (там, где современная норма запрещает или не рекомендует образование производных прилагательных): *Раевская батарея* < *батарея Раевского* [«Приѣхавши на Раевскую батарею, мы слѣзли съ коней и съ часть еще бесѣдовали о важномъ приключеніи, въ которомъ я участвовалъ. На Раевскаго батареѣ каждый изъ насъ взялъ на память посѣщенія нашего, кто шомполь, кто киверъ, кто кость» (Муравьев 18866, 450)]; «ужасы Сухозанетские» < *ужасы Сухозанета* < *ужасы, которые творил Сухозанет* [запись в дневнике А. И. Тургенева от 24.XI 1834 (ГПВС, 1: 194)]; «семейство Нессельродное» < *семейство Нессельроде* [Вяземский 1951, 309 (письмо жене от 11.III 1832)]. То же (это особенно показательно) в отношении местоимений, ср.: *Любовь на камне сем их память сохранила* (В. Жуковский, «Сельское кладбище», 1802), где *их память* — это 'память о них'; *Еще твоей молвой наполнен сей предел* (А. Пушкин, «К Овидию», 1821), где *твоя молва* — 'молва о тебе'; *И твое воспоминанье // Заменит душе моей // Силу, гордость, упованье // И отвагу юных дней* (Пушкин, «Предчувствие», 1828), где *твое воспоминанье* — это 'воспомянье о тебе'; *И ни завистливые годы, ни отдаленные края // Не воспретят, чтоб в род и роды // Хвала промчалась твоя* (П. Катенин, «Ахилл и Омир», 1826), где *хвала твоя* — это 'хвала тебе (Омиру)'; *Казни столп; над ним за тучей // Брезжит трепетно луна; // Чьей-то сволочи летучей // Пляска вокруг его видна* (Катенин, «Ольга», ред. 1832), где *чья-то сволочь* < «сволочь кого-то» (по той же модели, что и *мальчишек радостный народ*). В современном русском языке модель такого преобразования сохраняется пережиточно со значительными ограничениями. Ср., например, *рыбная ловля* (< *ловля рыбы*), но *ловля раков* (не **раковая ловля*); *сумасшедший дом* (< *дом сумасшедших*), но *дом престарелых* (не **престарелый дом*). Иначе в пушкинскую эпоху: *безумный дом* [А. Шаховской, «Урок кокеткам, или Липецкие воды», I, 2 (1815)] < *дом безумных; убогий дом* < *дом убогих* [«Священникъ <...> просиль меня показать ему мою записку объ убогихъ домахъ, я общалъ» (Снегирев 1902, № 8: 572; запись от 8.V 1825)]; и т. п.

¹¹ Ср. *бой 'дуэль'* (6, XXXIV, 7). Обратим внимание на то, что для обозначения дуэльных действий свободно использовались не только глаголы *стреляться, резаться и рубиться*, но также *биться и сражаться/сразиться*.

¹² То же можно было бы сказать и о вторичных применениях этих слов — например, в интеллектуальной сфере, к литературным, журналистским, политическим и научным стычкам, где *дуэль* говорится только о столкновении двух, а *брань и война* — всегда о многих. Единственный известный мне случай, когда прилагательное *бранный* используется у Пушкина применительно к литературному поединку, — это эпиграмма на Каченовского и Надеждина (1828): *Как сатирой*

безымянной // Лик зоила я пятнал, // Признаюсь: на вызов бранный // Возражений я не ждал и проч. (ср. также другие редакции). Однако следующая эпиграмма по тому же адресу недвусмысленно свидетельствует, что Пушкин намеренно играет здесь на омонимии бранный 'военный' и бранный 'ругательный': *Надеясь на мое презренье, // Седой зоил меня ругал, // И, потеряв [уже] терпенье, // Я эпиграммой [отвечал]. // Укушенный желаньем славы, // Теперь, надеясь на ответ, // [Журнальный шут], холоп лукавый. // Ругать бы также стал. — О, нет!* etc. Ср. в письме Пушкина к жене (конец сентября 1832 г.): «<...> встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке)» (15: 33).

¹³ Отсюда (с понятным метонимическим сдвигом) поле 'дуэль'. А. Ф. Вельтман писал, что он был «свидетелем издали одного <пушкинского. — А. П.> „поля“, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики» (Гордин 1987, 13).

¹⁴ «Сердечная тоска», вызванная крушением всех жизненных надежд, и мощный патриотический порыв реально совместились в жизни Жуковского, который, будучи изгнан 3 августа 1812 г. из дома Протасовых, уже 12 августа записался в Московское ополчение, а 26 августа оказался на Бородинском поле.

¹⁵ Ни то, ни другое не предполагает, однако, обязательного вступления в службу. Онегин мог оказаться на войне 1812 года точно так же, как не служившие и так и не вступившие в службу реальный князь Петр Вяземский или литературный Пьер Безухов, как позднее оказались на Кавказской войне не служившие (и лишь затем вступившие в службу) Лев Толстой и герой его рассказа «Набег».

¹⁶ Здесь внимательный к слову читатель принужден остановиться и задуматься, поскольку пушкинское употребление слова *наконец* в контексте отрицательно оцениваемых субъектом речи событий резко расходится с живой современной нормой, открывающей этому слову только контексты с положительной субъектной оценкой. Ср.: *И так они старели оба. // И отворились наконец // Перед супругом двери гроба. // И новый он приял венец (2, XXXVI, 1—4); <...> Подагру б в сорок лет имел, // Пил, ел, скучал, толстел, хирел. // И наконец в своей постеле // Скончался б посреди детей, // Плаксивых баб и лекарей (6, XXXIX, 10—14); Под небом голубым страны своей родной // Она томилась, увядала... // Увядала наконец, и верно надо мной // Младая тень уже летала.* Можно было бы привести десятки слов, лексические значения которых существуют для нас в жесткой связи с закрепленными за ними оценочными значениями, тогда как в пушкинскую эпоху они были оценочно нейтральны.

¹⁷ Ср. размышления В. С. Баевского: «Мог ли пылкий и мыслящий молодой человек остаться в стороне, вести рассеянную светскую жизнь, в то время как на полях сражений решалась участь России и Европы? Отвлеченно рассуждая, мог, но вероятность этого ничтожна <...> Даже если принять, что Пушкин представил в Онегине не распространенное, а исключительное явление — молодого думающего и чувствующего дворянина, не затронутого историческими событиями 1812—1815 гг., — совершенно невозможно предположить, что сам поэт обошел бы в первой главе эти события» (Баевский 1983, 118). Исходя из этих соображений,

В. С. Баевский предлагает пересмотреть общепринятую хронологию романа, его «календарь» и, в частности, оспаривает традиционную датировку рождения пушкинского героя. По его убеждению, это событие произошло не в середине 1790-х годов, а лет на пять позднее (Баевский 1983, 119; ср. Тархов 1974). И хотя здесь не место обсуждать этот чрезвычайно интересный и сложный вопрос, замечу, что аргументация В. С. Баевского строится в значительной степени на соотношении фактов жизни романного Онегина с фактами жизни романного повествователя, а эти последние безоговорочно отождествляются с фактами жизни реального Пушкина, что едва ли может быть признано справедливым. Таким же приемом пользуются и другие исследователи этой проблемы (см., например, Шварцбанд 1992; 1997).

¹⁸ Как бы то ни было, двойственность позиции Набокова очевидна, и его читателям предоставляется свобода размышлений и выбора, а главное — возможность осознания того, что Пушкин загадал нам здесь еще одну из множества своих загадок. Вполне вероятно, что Ю. М. Лотман потому и уклонился от объяснений, что, не находя сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу того или иного равно спорного и равно уязвимого решения, избрал, как и в ряде других случаев, в качестве наименьшего зла фигуру умолчания. Иные же, менее осторожные пушкинисты, отбросив сомнения или не имея их, ведая или не ведая о позиции Набокова, но во всяком случае не ссылаясь на него, безоговорочно приняли вторую из двух обсужденных выше интерпретаций — дуэльную, которая и переходит благополучно из одной работы в другую как нечто само собой разумеющееся (см. Тархов 1978, 242; Clayton 1985, 102; Briggs 1992, 88; Кошелев 1999, 35; и др.). Увы, в числе «неосторожных» пушкинистов я должен назвать самого себя. Работая над своей книгой (Пеньковский 1999д) и не имея еще возможности познакомиться с комментарием Набокова, я, сомневаясь и колеблясь, но не оговаривая этого, также принял «дуэльную» интерпретацию обсуждаемого двустипия. Винюсь и настоящей работой исправляю свою печальную ошибку.

¹⁹ Пушкин сам в этом пункте сравнил себя со своим героем: «A l'égard de mes voisins je n'ai eu que la peine de les rebuter d'abord; ils ne m'excèdent pas — je jouis parmi eux de la reputation d'Onéguine — et voilà, je suis prophète en mon pays» = «Что касается соседей, то мне лишь по началу пришлось потрудиться, чтобы отвести их от себя; больше они мне не докучают — я слышу среди них Онегиным — и вот, я — пророк в своем отечестве» [из письма к В. Ф. Вяземской от конца октября 1824 г.: 13: 114 (текст), 532 (перевод)].

²⁰ «В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь», — признавался Пушкин Вяземскому 27 мая 1826 г. (13: 280).

²¹ Пушкин, который, не будучи ни записным дуэлянтом, ни бреттером, не переставал, когда представлялась возможность, — один или вместе с друзьями (см. послание «Здравствуй, Вульф, приятель мой!..», 1823), — тренироваться в стрельбе, отрабатывая твердость руки и меткость глаза, и всегда был готов встать к барьеру. А. Н. Вульф рассказывал М. И. Семевскому, что когда «Пушкин намеревался стреляться» с Ф. И. Толстым-«Американцем», то, «готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе» (ПВС, 1: 420).

²² Может быть, по той причине, что он, добившись «тайного свиданья», вопреки ожиданиям самой соблазняемой (и едва ли не всех читателей пушкинского романа) «давал ей уроки в тишине» (1, XI, 12—14), но уроки не любовные, как категорически утверждает Набоков (Nabokov 1964, 2: 64) и как думают очень и очень многие, а «нравственные».

²³ Вспомним, что Пушкину в огромном Петербурге, где у него была тьма знакомых и достаточно много друзей, найти надежного секунданта для его последней, роковой дуэли и то оказалось непросто. Только случай послал ему Данзаса.

²⁴ Ср.: «Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей поневоле <...> тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет с ходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень» (Лотман 1980, 100; ср. Востриков 1998, 236—238; Reufman 1999, 187).

²⁵ Ср. яркий рассказ Н. Н. Муравьева об одной такой дуэли, состоявшейся в 1815 г.: «Вечеру Александръ <Муравьев. — А. П.> отыскалъ квартиру Леслиа, засталъ его дома и объявилъ ему, чтобы онъ готовился на другой день съ разсвѣтомъ быть на Маркушишкахъ, за городомъ, съ секундантами и пистолетами. „Я не дерусь на пистолетахъ“, отвѣчалъ Лесли: „мое оружiе сабля, и вы можете сказать Глазову, что ею я отрублю ему уши“. „А я не соглашаюсь“, отвѣчалъ Лесли. „Хорошо“, сказалъ Александръ, „если вы боитесь стрѣляться, такъ я скажу о томъ Глазову“ <...> „Обида слишкомъ значительна“, отвѣчалъ братъ Александръ, „и не можетъ удовлетвориться столь слабымъ оружіемъ. Г-нъ Глазовъ готовъ съ вами на смерть драться; онъ избираетъ сильнѣйшее оружiе, и вы должны на то согласиться по принятымъ правиламъ поединка“ <...> Глазовъ настаивалъ, чтобы поединокъ былъ на пистолетахъ; но какъ противникъ его никакъ не соглашался, то уговорили Глазова удовольствоваться саблями». «На другой день Глазовъ пришелъ на назначенное для поединка мѣсто <...> Черезъ часъ прискакалъ Лесли въ четверомѣстной каретѣ <...> „Гдѣ онъ?“ закричалъ Лесли, выскочивъ изъ кареты. „Я здѣсь“, отвѣчалъ Глазовъ хладнокровно, „и дожидаюсь васъ болѣе часа. Вы боялись со мной стрѣляться; снисхожу вамъ и дерусь съ вами на сабляхъ на смерть“» (Муравьев 1886, № 2: 139—140).

²⁶ По воспоминаниям И. П. Липранди, «дуэли особенно занимали Пушкина» (ПВС, 1: 327).

²⁷ Дуэль на саблях, как ясно из сказанного, не украшала репутации дуэлянтов, и это позволяет понять, как использовались сообщения о такого рода событиях на московской и петербургской «фабриках слухов и сплетен». Одна такая сплетня связана с на шумевшей в свое время дуэлью между Лермонтовым и сыном французского посла в Петербурге Э. де Барантом, состоявшейся 18 февраля 1840 г. Начав на шпагах, они затем перешли на пистолеты, причем Барант, стрелявший первым, промахнулся, Лермонтов сделал выстрел в сторону, и противники примирились (Герштейн 1981, 149). Дело о дуэли рассматривалось военным судом, и участники понесли положенное наказание (Гордин 1996, 253—284). Петербургское общество претензий к дуэлянтам не имело, что не мешало, естественно, од-

ной его части стать на сторону Лермонтова, а другой защищать Баранта. Были, впрочем, и третьи, распространявшие порочащий Лермонтова и Баранта слух о том, что «эти господа дрались на сабляхъ и въ четырехъ стѣнахъ, и поединокъ кончился <...> безъ оцарапки» (Бутурлин 1901, 408).

²⁸ Д. Давыдов, «Бурцову. Призывание на пуш» (1804); «Бурцову» («В дымном поле, на биваке...», 1804); «Графу П. А. Строгонову» (1810); «Песня» (1815); «Песня старого гусара» (1817); «Гусарская исповедь» (1832) и др.; А. Пушкин, «Послание к Юдину», 1815; «Недавно я в часы свободы...» (1822) и др.

²⁹ Е. Шахова, «К портрету Д. В. Давыдова» (1839).

³⁰ Ср. в поздней редакции: <...> *В кругу пирующих корнетов* (1: 362).

³¹ О том же ретроспективно, с высоты и отдаления протекших лет, в «Воспоминаниях в Царском селе» (1829): *На юных ратников завистливо взирали. // Ловили с жадностью <мы> брани [дальний] звук. // И детство <...> негодуя проклинали // И узы строгие наук* (3, кн. 1: 190).

³² Ср. у Баратынского в ранней редакции «Финляндии»: <...> *Люблю сидѣть одинъ надъ сумрачною бездной, // Молчать — и въ даль летѣть душой...* (Баратынский 1820, 169; далее следуют картины героического прошлого) — и затем в первой редакции «Водопада»: *Куда-то вдаль душа моя // Летитъ надеждой и желаньемъ* (Баратынский 1821, 169).

³³ В первоначальной редакции: *отрясти*.

³⁴ Разумеется, можно использовать глагол (по)любить и без сопровождающего имени объекта. Но в подобном случае отсутствие управляемого члена — это проявление эллипсиса, который, опуская имя объекта, не устраняет его ни из экстралингвистической реальности, ни из сознания субъекта речи. Именно так говорит о себе пушкинский Пленник, исповедуясь своей Черкешенке: *Я полюбил — и сны младые // Слетели с изумленных везд, // С тех пор исчезли дни златые, // С тех пор не ведаю надежд...* (4: 325) — после чего следует описание его возлюбленной («Кавказский пленник», ч. II, черновая рукопись). Даже с переносом этого действия в план будущего (например, в утешающих словах Онегина Татьяне) мысль о его объекте не устраняется полностью, а лишь затуманивается неопределенностью: *Полюбите вы снова: но... // Учитесь властвовать собою; // Не всякой вас, как я, поймет* (4, XVI, 11—13). Большой способностью к элиминации объекта обладают инфинитивы, сохраняющие свою именную природу и потому свободно используемые в генерализующих высказываниях (ср. некрасовское: *То сердце не научится любить, // Которое не может ненавидеть*). Однако и они не утрачивают полностью объектную валентность и всегда готовы к ее актуализации; так у Лермонтова: *Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда, // А вечно любить невозможно* («И скучно и грустно», 1840). Ср. то же в обобщенно-личном предложении: *Нам строго, строго не велят // Дружиться с вами. Говорят, // Что вероломны, злыбы все вы, // Что вас бежать должны бы девы, // Что как-то губите вы нас, // Что пропадешь, когда полюбишь; // И ты, я думала не раз, // Ты, может быть, меня погубишь* (Баратынский, «Эда», 100—107).

³⁵ Ср. у Пушкина: *Любимцы счастья, наперсники судьбы // Смирненно ей несут влюбленные мольбы; // Но дева гордая их чувства ненавидит* («Дева», 1821) —

где *ненавидеть* значит 'презирать', что косвенно подтверждается ближайшим литературным источником пушкинской строки: *А дева Русская Гаральда презирает* (К. Батюшков, «Песнь Гаральда Смелого», 1816).

³⁶ Ср. хотя бы: «Отчаяние войск его <Наполеона. — А. П.> немощно из[об]разить, когда по взятии Москвы узнали они, что не должны надеяться мира. Это видно потому, что все их генералы, офицеры и солдаты, и даже сам Мюрат беспрестанно говорят о мире, но [у нас], к счастью нашему, о нем не помышляют» (из письма С. Н. Марина неизвестному от 2.X 1812); Наполеон «поддерживал войска свои надеждою, что обогатится в Москве и предпишет нам постыдный мир — теперь, напротив, видит, что всякий из нас охотно всем жертвует <...> Каждый не иначе как с ужасом о мире помышляет» (из письма П. А. Кикина брату от 7.X 1812); «Здесь прошел слух, что гр. Меттерних в звании австрийского посла поехал в Петербург с угрозами и предложением о мире. Какой мир! Что нам осталось? Что терять можно? Истребить злодея с его шайкою» [из письма И. В. Сабанеева М. С. Воронцову от 23.X 1812 (КЧР, 125, 147, 157)].

³⁷ В сборниках стихотворений 1826 и 1829 г. вслед за «Войной» Пушкин печатает элегию «Я пережил свои желанья...», и это, наверное, не случайное расположение текстов.

³⁸ Ср.: «О себе же скажу вам, что восхищен всем, что каждый день вижу. Наконец, я в своем месте и чувствую себя способным быть полезным отечеству. Живу я как нельзя лучше в походе. Очень здесь весело: военная музыка и гром орудий рассеивают всякую печаль» [из письма В. С. Норова родным от 10.X 1812 (КЧР, 153)].

³⁹ Ср.: «<...> я решился — и твердо решился — отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце <...> Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти» [из письма Батюшкова Вяземскому от 3.X 1812 (КЧР, 125)].

БИБЛИОГРАФИЯ

- Баевский, В. С.: 1983, 'Время в «Евгении Онегине»', *Пушкин: Исследования и материалы*, Ленинград, т. XI, 115—130.
- Баратынский, [Е.]: 1820, 'Финляндия', *Труды Высочайше утвержденного Вольного Общества Любителей Российской Словесности*, ч. X, № V, 168—170.
- Баратынский, [Е.]: 1821, 'Водопад', *Труды Высочайше утвержденного Вольного Общества Любителей Российской Словесности*, ч. XV, № I, 90—91.
- Баратынский, Е.: 1824, 'К **', *Полярная звезда: Карманная книжка на 1824-й год*, С.-Петербург, 259—261. Подпись: Б.
- Бестужев, А.: 1825, 'Взгляд на Рускую Словесность в течении 1824 и начале 1825 годов', *Полярная звезда: Карманная книжка на 1825-й год*, С.-Петербург, 1—23.
- Бродский, Н. Л.: 1950, <<«Евгений Онегин»>>: *Роман А. С. Пушкина: Пособие для учителей средней школы*, Издание 3-е, переработанное, Москва.
- Бурнашев, В. П.: 1872, 'Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников: (Из „Воспоминаний“ В. П. Бурнашева, по его ежеднев-

- нику, в период времени с 15 Сентября 1836 по 6-е Марта 1837 г.', *Русский Архив*, № 9, стб. 1770—1850.
- Бутурлин, М. Д.: 1897, 'Записки графа М. Д. Бутурлина: [VI—VII]', *Русский Архив*, № 7, 337—439.
- Бутурлин, М. Д.: 1901, 'Записки графа М. Д. Бутурлина: [Окончание]', *Русский Архив*, № 11, 384—471.
- Волохонская, Т. П.: 1993, 'Дуэли Пушкина и его героев', *Пушкинская эпоха и Христианская культура*, С.-Петербург, вып. III, 24—39.
- Востриков, А.: 1998, *Книга о русской дуэли*, С.-Петербург.
- Вяземский, П. А.: 1951, 'Письма к жене за 1831—1832 гг.', *Примечания М. С. Боровковой-Майковой, Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века*, Москва, [т.] IX, 213—468.
- Герштейн, Э. Г.: 1981, 'Дуэли Лермонтова: Дуэль с Э. Барантом', *Лермонтовская энциклопедия*, Москва, 149—150.
- Гордин, Я.: 1987, 'Право на поединок: Роман в документах и рассуждениях', *Нева*, 1987, № 2, 6—58.
- Гордин, Я.: 1996, *Дуэли и дуэлянты*, С.-Петербург.
- Греч, Н. И.: 1873, 'Записки: [Гл. I—II]' [1849—1865], *Русский Архив*, № 5, стб. 225—341.
- Дмитриев, М. А.: 1869, *Мелочи из запаса моей памяти*, 2-м тиснением, с значительными дополнениями по рукописи автора, Москва.
- Инсарский, В. А.: 1873, 'Из записок В. А. Инсарского', *Русский Архив*, № 4, стб. 513—592.
- Кайданов, [И.]: 1832, *Извлечение из рукописных исторических лекций профессора Кайданова*, С.-Петербург.
- Кошелев, В. А.: 1999, «*Онегина*» *воздушная громада...*, С.-Петербург.
- КЧР — *К чести России: Из частной переписки 1812 года*, Составитель, автор предисловия и примечаний М. Бойцов, Москва 1988.
- Лотман, Ю. М.: 1980, *Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий: Пособие для учителя*, Ленинград.
- Муравьев, Н. Н.: 1886а, 'Записки: [V—VI]', *Русский Архив*, № 2, 69—146.
- Муравьев, Н. Н.: 1886б, 'Записки: [1816—1817 гг.]', *Русский Архив*, № 4, 445—524.
- Набоков-Сирин, В.: 1957, 'Заметки переводчика', *Опыты*, [кн.] VIII, 36—49.
- Непомнящий, В. С.: 1996, 'Из наблюдений над текстом «Евгения Онегина»', *Московский пушкинист*, Москва, вып. II, 135—165.
- ПВС — *Пушкин в воспоминаниях современников*, 3-е издание, дополненное, Вступительная статья В. Э. Вацуро; Составление и примечания В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой и др. С.-Петербург, т. 1—2.
- Пеньковский, А. Б.: 1999а, 'Об «антипоэтическом» характере Онегина, или как читать Пушкина', *Вестник Российского гуманитарного научного фонда*, № 1, 214—229.
- Пеньковский, А. Б.: 1999б, 'О страсти и страстях, или Умел ли Онегин любить, или Как читать Пушкина', *Пушкин и поэтический язык XX века: Сборник*

- статей, посвященный 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Москва, 42—59.
- Пеньковский, А.: 1999в, 'Загадки пушкинского текста и словаря', *Новый журнал*, 1999, № 217, 119—126.
- Пеньковский, А. Б.: 1999г, *Загадки пушкинского текста и словаря: «Нет... ни балов, ни стихов»*, Москва (= Вечера в музее Сидура; Вып. 56).
- Пеньковский, А. Б.: 1999д, *Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом отношении*, Москва.
- Пеньковский, А. Б.: 2000, 'Пушкинский текст и текст культуры: *Котильон*', *Поэтический текст и текст культуры: Международный сборник научных трудов*, Владимир, 79—93.
- Пушкин: 1937—1949, *Полное собрание сочинений: В 16 т.*, [Москва — Ленинград].
- Сахаров, И. П.: 1873, 'Для биографии И. П. Сахарова', Сообщено П. И. Саввантовым, *Русский Архив*, № 6, стб. 897—1017.
- Семевский, М.: 1870, 'Александр Бестужев в Якутске: Неизданные письма его к родным, 1827—1829', *Русский Вестник*, т. LXXXVII, № 5, 213—264.
- Снегирев, И. М.: 1902, 'Дневник И. М. Снегирева', [С предисловием А. А. Титова], *Русский Архив*, № 6, 177—212; № 7, 369—435; № 8, 529—576.
- СП — *Словарь языка Пушкина: В 4 т.*, Москва 1959, т. III: О — Р.
- Тархов, А. Е.: 1974, 'Календарь «Евгения Онегина»', *Знание — сила*, № 9, 30—33.
- Тархов, А.: 1978, А. С. Пушкин, *Евгений Онегин*, Вступительная статья и комментарий А. Тархова, Москва.
- Цявловская, Т. Г.: 1959, 'Примечания', А. С. Пушкин, *Собрание сочинений: В 10 т.*, Москва, т. 2: Стихотворения. 1823—1836, 659—781.
- Шаховской, А. А.: 1886, 'Двенадцатый год: Воспоминания князя А. А. Шаховского' [1836], *Русский Архив*, 1886, № 10, 372—402.
- Шварцбанд, С.: 1992, 'Еще раз о «календаре» в «Евгении Онегине»', *Russian Philology and History: In Honor of Professor Victor Levin*, Jerusalem, 285—299.
- Шварцбанд, С.: 1997, '«...время расчислено по календарю»', *Пушкинский сборник*, Иерусалим, вып. 1, 163—172.
- Briggs, A. D. P.: 1992, *Alexander Pushkin. Eugene Onegin*, Cambridge etc.
- Clayton, J. D.: 1985, *Ice and Flame: Aleksandr Pushkin's Eugene Onegin*, Toronto — Buffalo — London.
- Nabokov, V.: 1964, А. Pushkin, *Eugene Onegin: A Novel in Verse*, Translated from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov: In 4 vols., New York (= Bollingen Series; [№] LXXII).
- Reyffman, I.: 1999, *Ritualized Violence: Russian Style: The Duel in Russian Culture and Literature*, Stanford, Calif.